



ХАНС ЭРИХ НОССАК

Ответы на вопросы анкеты «Достоевский — сегодня?»*

I

1. Насколько я помню, первой книгой Достоевского, попавшей мне в руки, было «Преступление и наказание». Мне тогда было около четырнадцати лет, и книгу эту я обнаружил в библиотеке моего отца. Это было двухтомное иллюстрированное издание в темно-красном переплете.

2. Об уникальности Достоевского я в ту пору и понятия не имел. Кажется, я проглотил книгу как захватывающий криминальный роман. Вернее, я так полагаю, потому что в памяти у меня от того чтения остались прежде всего иллюстрации. Например, я и сегодня живо представляю себе картинку, на которой было изображено кошмарное видение Свидригайлова незадолго до его самоубийства: ночь, маленькая девочка сидит и мерзнет на каменных ступенях крыльца, а над ней наклоняется бородатый господин.

3. Я не помню, чтобы мы разговаривали о Достоевском с товарищами по гимназии; нас в те годы больше интересовал Стриндберг и экспрессионисты. Явление Достоевского для меня состоялось только после Первой мировой войны, и вот тогда оно уже стало неизгладимым. Вероятно, этому можно дать историческое объяснение. Мое поколение родилось в пору кризиса прежнего общественного порядка — буржуазного века. В 1914 году вдруг открылось: жизненные правила наших отцов, прежде казавшиеся абсолютно надежными, гарантировавшими успех в этом мире, — все эти правила были ложными и полагаться на них

* Составленная М. Шпербером анкета, на вопросы которой отвечает Носсак, приведена в начале интервью З. Ленца, опубликованного в том же сборнике (см. наст. изд., с. 637).

больше нельзя. Получается, мы с ранней юности должны были пробираться по жизни ощупью, без всяких ориентиров. А тут еще грянула русская революция 1917 года. Мы, шестнадцатилетние, были от нее в полном восторге и — не без оснований — полагали, что борьба там идет в том числе за наше дело. Вот тогда мы и начали интенсивно заниматься русской литературой и в особенности Достоевским. В годы моей учебы в университете и после того мы с товарищами, бывало, спорили о нем ночи напролет. Нам казалось, он предвосхитил нашу, именно нас волновавшую проблему: возможно ли человеку смириться с существованием в прогнившем обществе, в эпоху очередной реставрации.

4. Всё, что я написал в юности, сгорело при пожаре во время воздушного налета¹. И вряд ли те мои произведения были отмечены влиянием Достоевского; скорее уж — позднего Стриндберга, так как я в те годы хотел посвятить себя исключительно драматургии.

5. В 1920–1930-х годах я неоднократно перечитывал всего Достоевского, по крайней мере раз в год. Конечно, вкус и литературные взгляды меняются с возрастом. Ранние его романтические вещи, которыми я в ту пору особенно упивался (например, «Бедные люди» или «Белые ночи»), больше не производят на меня столь непосредственного и сильного воздействия. Но есть у Достоевского книга, которая для меня больше чем просто литература; ее я и сегодня читаю без малейшего несогласия. Это «Записки из Мертвого дома». Насколько повлияла на меня эта книга, решать филологам. Пожалуй, действительно повлияла — в том, что касается оформления повествовательной перспективы. Я имею в виду используемую Достоевским форму трезвого, скупого на эмоции отчета о пережитой катастрофе, отчета, записываемого для того, чтобы внутренне дистанцироваться от этой катастрофы. Во всяком случае, в 1943 году, когда сам я утратил всё мое прошлое и вынужден был начинать сначала, я не случайно предпослал своему документальному отчету о гибели Гамбурга эпиграф из «Мертвого дома»: «Вообще о былом своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем»². Это «видимо» — действительно великолепно! Достоевскому тоже пришлось принять тот факт, что он утратил свое собственное прошлое, и всё начать сначала. Возможно, в том и заключается причина моего совершенно особенного отношения к этой книге.

6. В отличие от Достоевского Толстой мне всегда оставался чужд и даже несимпатичен. Я имею в виду не его великие рома-

ны — «Войну и мир» и «Анну Каренину»; я говорю сейчас о том Толстом, который отвергал цивилизацию и разыгрывал из себя крестьянина-анахорета. Да, разыгрывал, и пусть за подобной игрой скрывалась трагедия, я не могу этому сочувствовать — возможно, оттого, что сам я мыслю реалистически. Мир не изменишь романтическими мечтами о возвращении в прошлое и сектантским маскарадом.

II

1. Если в произведениях Достоевского и есть что-то устаревшее в историческом отношении, от этого несложно отвлечься — уже по той простой причине, что Достоевский был человеком большого города и действие его романов тоже разворачивается в большом городе. Феномен большого города остается всё тем же, и совершенно неважно, ездят ли там на дрожках или в автомобилях. Однако есть и более глубокая причина того, что Достоевский продолжает быть актуальным. Дело в том, что для Достоевского — в отличие от сторонников исторического материализма — человек является не только продуктом своей среды; будь оно так, достаточно было бы изменить кулисы, чтобы вместе с ними изменился человек. Достоевский, напротив, показывает нам человека, который хочет обособиться от всех «кулис» и борется за человеческое в себе самом (и не так важно, завершится борьба успехом или поражением); человека, который не отождествляет себя с господствующей идеологией и, невзирая на все ее гарантии счастья, ищет своих собственных путей к тому, чтобы стать счастливым. Эту установку Достоевского я бы, пожалуй, назвал антиисторической. Во всяком случае, она позволяет нам воспринимать как случайные кулисы всё то, что иначе могло бы показаться в его романах старомодным: форму государственного правления, общественный порядок, тенденции и идеологии. Ибо основная проблема остается всё той же, что сто или тысячу лет назад: когда идеология застывает, превращается в институцию, становится самоцелью — начинается бунт человека, почувствовавшего себя низведенным до уровня объекта.

3. По поводу злобных и часто нелепых предубеждений столь выдающегося человека можно лишь с досадой покачать головой; тем более что проповедуемые им истины уже в ту эпоху не были истинами. Вдобавок трудно отделаться от ощущения, что всё это мало соответствует самой сути его натуры. Вероятно, для того чтобы объяснить и извинить многие его суждения, нужно при-

нять во внимание биографические обстоятельства. Вполне возможно, что перед нами — результат отвержения самого себя, прежнего себя. В молодости Достоевский подпал под влияние западных тенденций — «абстракций», как назовет он их позже; за это его сослали в Сибирь, и он долгие годы вынужден был жить там вместе с уголовными преступниками. Это переживание, ужасное для всякого интеллектуала, привело Достоевского к ошибочному суждению, будто во всем виновата европеизация России. Отсюда происходит его ненависть к западным тенденциям, его нелепые нападки на Европу, его невыносимый национализм. Однако он проповедует всё это чересчур громко, так что в итоге ему не веришь; он сам себе конструирует искусственную опору, после того как у него однажды выбили почву из-под ног. Есть такая русская поговорка: нельзя жить чужой совестью. Замечательная поговорка! Потому что и мы сегодня не в состоянии жить, сообразуясь лишь с той заранее подчищенной и препарированной совестью, какую преподносят нам средства массовой информации и разные идеологии. По-настоящему трагично то, что именно Достоевский, в своих книгах протестовавший против насилования человека всяческими абстракциями, сам попадает под власть абстракции или «чужой совести», когда с такой односторонностью отвергает всякий необходимый прогресс. Простим ему, потому что он, определенно, и сам от этого страдал.

4. Политический писатель? Но у него ведь отсутствовали малейшие предпосылки к тому, чтобы мыслить как практический политик. Там, где он пытается прямо высказать политические суждения, в «Дневнике писателя», он проповедует мораль и становится невыносимо дидактичен и полемичен. Вместе с тем — разве художественное произведение не является в то же время политическим поступком, если своим возникновением оно обязано недовольству писателя существующим общественным порядком? Даже немудреная любовная история может рассматриваться как политический поступок, потому что она рисует ситуацию не политическую, что для политики уже является оскорблением. Авторитарная власть наделена хорошим чутьем — в том смысле, что она понимает: ее претензии на абсолютное господство ставятся в таком случае под сомнение. И автора жестоко бранят за то, что в своей повести он не счел нужным указать на все те общественные достижения, благодаря которым любовь якобы сделалась гораздо более приятной, гигиеничной и безопасной³.

5. «Бесы» остаются наиболее актуальной книгой Достоевского; достаточно всего-навсего перевести пару устаревших по-

нятий на наш сегодняшний жаргон. Вместо Гегеля и Маркса, на которых так любят ссылаться сегодня, вместо Троцкого, Мао, Че Гевары и прочих — в тот век рассуждали о Фурье, Прудоне и других ранних социалистах. Тогдашние нигилисты все были представителями разных «уклонов», как мы это сегодня обозначаем; у каждого нигилиста имелся свой «святой» и своя программа. Все эти сектанты, тогдашние и теперешние, любят использовать слово «свобода», — но случись так, что их программа окажется реализованной, следствием того сразу станет абсолютная несвобода и нетерпимость. Мы, на себе испытавшие действие жерновов фашизма, научились распознавать подобные ловушки. Такую псевдорациональность и результирующие из нее практические псевдодействия Достоевский разоблачает с чрезвычайной дальновидностью.

6. Прежде всего — одно замечание по поводу бранного слова «реакционер». Его порой приходится слышать даже старому революционеру, которому и в голову не приходит отрицать необходимость революции, но который посмеет критиковать тактику новейших протестующих, ссылаясь на свой долгий опыт работы в условиях подполья. Поджог и политическое убийство как средство пропаганды описаны уже в «Бесах». Впрочем, автор «Бесов» действительно использует карикатурные приемы, рисуя революционное движение своего времени. Непостижимо, каким образом такой человек, как Достоевский, не нашел ни единого доброго слова для той самоотверженности и жертвенности, которые проявляла тогдашняя молодежь. В глубине души он был анархистом, как и большинство поэтов и художников (достаточно вспомнить его страсть к игре), и из страха перед тем, как бы эта стихия анархии не вырвалась на волю, он окружил себя защитными бастионами царизма, славянофильства, православного христианства и другими идеями, уже для той эпохи несвоевременными. В изображаемых им персонажах он критиковал себя самого, но язвительность этой критики всего революционного явно превысила должную меру. И это останется несмысленным пятном на его величии. Однако почему в таком случае за гробом Достоевского шли не только консерваторы и государственные чиновники, но и толпы студентов и рабочих? Почему народ воспринял его как раннего борца за некие новые ценности? Стоит нам вслушаться внимательней (а сегодня мы к этому способны), и мы не можем не расслышать сочувствие, какое вызывают у Достоевского люди, не совпадающие со своими собственными программами; в качестве компенсации за свое бессилие они

ищут хоть какую-то замену и находят ее в мечте о коллективе, в котором все совершенно равны и избавлены от свободы принимать самостоятельные решения. Вспомним Верховенского, этого в высшей степени несимпатичного функционера в «Бесах»: на самом деле ему безразличны всякие возвышенные теории, он их в лучшем случае использует в собственных интересах, чтобы манипулировать людьми, потому что ему нужна только власть и организация. Разве мы не наблюдали в годы фашизма действие тех же самых механизмов, воздействующих на психологию масс? И разве Достоевский с его сочувствием к человеку не оказывается в итоге более прозорливым, чем всякая отдельная революция? Разве не оказывается он — несмотря на все его досадные идеологические промахи — вечным революционером, так сказать, во внеисторическом смысле? Почему его так плохо переваривают догматики-марксисты? Над его антисоциалистическими суждениями можно сегодня посмеяться, они никакой системе вреда не причинят, — зато его предостережение перед опасностью любой системы, превращенной в самоцель, нестерпимо для всякого функционера — неважно, капиталистической или марксистской системы.

III

1. Религиозный писатель? Это слишком удобная классификация. Называть так Достоевского позволительно разве только в том случае, если считать религиозным каждого писателя, для которого человек важнее общественных институтов; в этом отношении русские — религиозно в высшей степени одаренный народ. Сегодня сплошь и рядом неверно толкуемые слова о «смерти Бога»⁴ подразумевают лишь то, что мертв Бог как институция. Кстати, почему у Достоевского все его старцы и святые — еретики? Разве вообразим более религиозный человек, чем Иван Карамазов, выдающий себя за антихристианина? Неудивительно, что мое поколение уже нельзя представить себе без этого героя.

2. Достоевский прямо-таки одержим злом, и злые его герои выглядят гораздо более пластически убедительными, чем добрые. В его душе, определенно, было больше злых задатков, чем в душе среднего человека, и то, как Достоевский всему этому сопротивляется, неотъемлемо принадлежит к своеобразию его индивидуальности. Кстати, зло представлено у Достоевского не только и не столько в фигурах преступников (о них скорее можно сказать, что они несчастны), сколько в качестве абсолютного зла,

таящегося под овечьей шкурой буржуазной личины. Для этого зло любое добро выглядит всего лишь глупостью, которой можно воспользоваться. Перед нами, сегодняшними писателями, встает удручающий вопрос: почему мы разучились изображать злых людей? Не потому ли, что у нас пропал инстинкт добра? Или дело в том, что мы, если воспользоваться словом Ханны Арендт, постигли банальность зла⁵? В таком случае я бы посоветовал переставить акценты и обратить внимание на зло банальности. Именно это и делает Достоевский.

3. Чувство вины было в Достоевском столь сильно, что временами он ударялся в карточную игру. Для него это было чем-то вроде наркотика, позволявшего не мучиться принятием решением, предоставить всё случаю. Откуда, однако, происходит чувство вины? Вероятно, из понимания того, что человек проиграл, предал или не использовал свои собственные возможности⁶. Впрочем, в таком случае можно бы задать следующий вопрос: каким образом может человек тогда знать о своих возможностях? То есть если он прежде уже отринул все существующие, традиционные инстанции.

4. Если у Достоевского или в наше время начинаются сетования по поводу безбожия, то происходят они оттого, что за фасадом практического существования мы уже не в состоянии различить чего-то, что способно было бы служить нам ориентиром. Мы изо всех сил стараемся принимать этот фасад за единственную существующую реальность, мы хвалимся тем, что живем в мире, лишенном трансцендентного, — и в то же время нам мучительно не хватает этого трансцендентного. Оттого у нас и нет возможности самоидентификации, оттого и возникают неврозы и массовые истерии. Возможно, в переходные эпохи это всегда так. На исходе средневековья, когда прежняя схоластическая картина мира перестала выглядеть убедительной, был и крестовый поход детей, и пляски святого Витта, и всевозможные лжеучения и секты. Встречались тогда и социальные отщепенцы, годами слонявшиеся по свету под видом паломников и кормившиеся подаянием. В ту пору, конечно, тоже сетовали о распространении безбожия.

5. Образ раскаявшегося грешника или святого Достоевскому так никогда и не удалось бы создать, в этом я — как писатель — совершенно убежден. До чего же бледным выглядит Алеша Карамазов по сравнению со своим братом Иваном! Алеша — всего лишь образ желаемого, выдаваемый за действительное. Впрочем, в задачи писателя и не входит давать ответы, а тем более житей-

ские поучения. Его задача — ставить вопросы, а также ставить известные явления под вопрос. Поэтому (простите меня!) вопрос о том, можно ли сегодня изобразить святого при помощи литературных средств, поставлен неверно. Он должен был бы звучать: а можно ли литературными средствами вообще изобразить святое? И тут я решительно отвечаю: нет. Святость избегает всякой публичности. Когда кто-то говорит о святом слишком громко, оно перестает быть святым, превращается просто в рекламу. Однако можно привести читателя к тому, чтобы задуматься о святом, — изобразив житейскую повседневность до такой степени прозрачной, что вам должно показаться: нечто в ней отсутствует.

6. Нет, я никогда не ломал себе голову над преступлением и наказанием в том метафизическом смысле, в каком смотрит на эту проблему Достоевский. Что касается Достоевского, то, быть может, всё написанное им — это нечто вроде признания своей вины? Или, если воспользоваться словом Кафки: молитва?

IV

1. Необходимо ли быть психологом, чтобы понять и изобразить другого человека? Для этого вполне достаточно способности вчувствоваться, вслушаться в чужое существование, а главное — способности отвлечься от собственных размышлений и реакций (иными словами — скромности). Модный психологический анализ со всеми его подручными фразами, напротив, мешает нам непосредственно воспринимать факты, сопереживать и сочувствовать. До чего же боимся мы всякой самоотдачи!

2. Если мы условимся понимать под мифом слово, образ или некую фигуру, в которой мы со всей непосредственностью узнаем сами себя, я соглашусь с таким определением Достоевского. Однако такое удается чрезвычайно редко, удается только величайшим художникам. Именно поэтому я считаю Достоевского бóльшим реалистом, чем так называемые реалисты, которые просто отбрасывают всё нерациональное или уничтожают его своими истолкованиями, — в результате их произведения оставляют впечатление чего-то крайне далекого от реальности.

3. Позицию Достоевского можно было бы с тем же успехом назвать антифилософской, потому что у него, как у любого художника, отсутствовал орган для восприятия абстрактных понятий, и ему необходимо было переводить всё понятийное на язык воспринимаемого чувствами. Он не раз старался показать, что человек не может удовлетвориться абстрактно сформулирован-

ными правилами поведения; на этом терпят крах все мужские персонажи его романов. Кстати, во всем вышеизложенном мы вообще еще не упомянули женские образы у Достоевского. Бросается в глаза, что именно женщины у него оказываются теми героинями, которые способны выстоять во всех несчастьях, несмотря на любую боль. Пожалуй, за исключением несчастной Настасьи Филипповны, которая погибает из-за своих истерических капризов и срывов. Не обязательно даже рассуждать здесь о таких женщинах, как Соня или Грушенька; в них сам автор был слегка влюблен, как это нередко случается с писателями. Вспомним лучше одну из второстепенных женских фигур, генеральшу Епанчину — не слишком образованную даму, наделенную зато практическим умом. Удивительная женщина, которая всегда откровенна и никому не дает себя провести, в том числе князю Мышкину! Ее инстинкт говорит ей: ангел или святой, такое нам не годится, от него только и жди беспорядка. Философской позицией такой способ изображения никак не назовешь.

4. Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы сперва написать роман. Спланировать его теоретически нельзя.

5. Из героев Достоевского мне ближе всех, как уже было упомянуто, Иван Карамазов. Он — словно один из сегодняшних людей, сегодняшний интеллеktуал. Или, говоря словами Камю: человек в метафизическом бунте⁷.

6. Мне хотелось бы настоятельно предостеречь от того, чтобы пытаться столь непосредственно переносить протагонистов Достоевского в наше время, воображать их живущими среди нас. Они — единственные в своем роде, они целиком принадлежат Достоевскому, они неподражаемы. Однако на примере второстепенных его героев может многому научиться каждый писатель, желающий изобразить свою эпоху. Возьмем, к примеру, бедолагу Шатова, который начисто забывает о революции и спешит к акушерке, когда у жены начинаются родовые схватки. Или Кириллова, наиболее последовательного из всех нигилистов, который играет с ребенком в мячик перед тем, как застрелиться. В качестве образцов можно было бы назвать и отрицательных персонажей. Выше я уже говорил об омерзительном функционере Верховенском. А вот перед нами и жалкий карьерист Ганя Иволгин, и деятельно-суетливый Лебедев из того же «Идиота», который так, между прочим, рассуждает об Апокалипсисе. Потерпевшие житейский крах или коррумпированные общественной средой и уже неспособные к непосредственным человеческим порывам — подобные типы сегодня встречаются на каждом шагу, их

миллионы, и тот, кто сумеет их изобразить, изобразит не только свое время, но и извечную человеческую трагикомедию. Вполне возможно, такая скромность в выборе темы окажется вознаграждена, и в прорехах рисуемого нами переднего плана — убогих, ветшающих декораций жизни — вдруг промелькнет тень святого... Или обозначим это каким-нибудь другим словом — по сути это будет то же самое.

